

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S241377150017845-2

Достоевский, или “Писатель, который изменил человека...”

© 2021 г. В. В. Полонский

Доктор филологических наук,
член-корреспондент РАН,
ученый Янцзы (Сычуаньский университет, Китай),
директор Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН,
Россия, 121069, Москва, ул. Поварская, д. 25а
v.polonski@mail.ru

Резюме. В работе демонстрируется уникальная роль Достоевского как создателя художественной антропологии тотального кризиса в мировой культуре XIX–XXI вв. Обозреваются отклики на творчество писателя в диапазоне от критики и публицистики Зигмунда Фрейда, Томаса Манна и Германа Гессе до дискуссий о нем в Парижской Франко-русской студии 1929–1931 гг. Особенное внимание уделяется контекстам рецепции Достоевского, заданным мировыми войнами и эстетическими парадигмами экспрессионизма, авангарда, экзистенциализма.

Ключевые слова: Достоевский, кризис, художественная антропология, рецепция, литература и мировые войны.

Для цитирования: Полонский В.В. Достоевский, или “Писатель, который изменил человека...” // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2021. Т. 80. № 6. С. 15–19. DOI: 10.31857/S241377150017845-2

Dostoevsky, or “the Writer Who Reformed a Human Being...”

© 2021 Vadim V. Polonsky

Doct. Sci. (Philol.),
Correspondent Member of the Russian Academy of Sciences,
Chang Jiang Scholar (Sichuan University, China),
Director of A.M. Gorky Institute of World Literature of the RAS,
25a Povarskaya St., Moscow, 121069, Russia
v.polonski@mail.ru

Abstract. The author emphasizes the unique role of Dostoevsky as a founding father of artistic anthropology of the total crisis of world culture in 19th–21st centuries. There is offered a survey of responses to Dostoevsky’s writings, ranging from critique and opinion pieces by Sigmund Freud, Thomas Mann, and Hermann Hesse to debates about the writer by the members of Le Studio Franco-Russe, which used to gather in 1929–1931, in Paris. Special attention is paid to the contexts of Dostoevsky’s reception set by the world wars and aesthetic paradigms of Expressionism, Avant-garde, Existentialism.

Key words: Dostoevsky, crisis, artistic anthropology, reception, literature and world wars.

For citation: Polonsky, V.V. *Dostoevskij, ili “Pisatel, kotoryj izmenil cheloveka...”* [Dostoevsky, or “the Writer Who Reformed a Human Being...”]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2021, Vol. 80, No. 6, pp. 15–19. (In Russ.) DOI: 10.31857/S241377150017845-2

200-летие Достоевского — необычный, “трудный” юбилей. Трудность его связана с тем, что сама фигура этого писателя вырывается из тисков стереотипов юбилейного жанра. Как мало кто в мировой культуре, Достоевский не поддается “монументализации”, превращению в парадный бюст на аллее классической литературной славы. Его лихорадочное послание — спасительное и мучительное — не только оставило свой след едва ли не на всей мировой литературе и культуре последних 140 лет. Оно еще и пронзительно современно. Так что “casus Достоевский” — убедительное свидетельство в пользу тезиса о том, что подлинная классика в сущности всегда злободневна. И Катулл актуальнее новостей с ленты информагентств.

18 декабря 1929 г. в парижском Социальном музее произошло значимое в перспективе интересующей нас темы событие. На заседании Франко-русской студии — важной площадки диалога между ведущими интеллектуалами двух культурных традиций, российской (представленной, естественно, эмиграцией) и французской, обсуждавших здесь с 1929 по 1931 г. наиболее жгучие для обеих сторон сюжеты, — главным предметом разговора стал Достоевский. Не менее символически значимы оказались фокус и масштаб восприятия его фигуры, величина аксиологических ставок, в общем-то шокирующая, заданные уже в начальной части первого доклада о Достоевском, с каким выступил Кирилл Зайцев, тогдашний известный публицист и главный редактор еженедельника “Россия и славянство”.

Зайцев бросает радикально провокативный и пленительно притязательный тезис: Достоевский стал первым в мире за века писателем, кто оказался по-настоящему способен изменить человека. Никому до него это не удавалось. Даже самым великим, даже Шекспиру, которого автор “Бесов” в черновиках к роману именуется “пророком, посланным Богом, чтобы возвестить нам тайну о человеке” [1, с. 239]; “Человек, испытавший влияние Шекспира, не становится иным. Есть лишь один единственный писатель, за которым можно признать подобное влияние на душу человеческую. Это — Достоевский” [2, с. 92].

Причем влияние его — отнюдь не радостная благодать, а страшный, испепеляющий, воскрешающий через пагубу инициатический огонь, исходящий из пространства духовных экстремумов, где происходит вечная мистериальная битва Добра и Зла — единственный метасюжет Достоевского, титана, восставшего на Создателя, невиданного из богоборцев мировой литературы,

Иакова, обращенного в Израиля по исходу битвы с Богом. Зайцев решается на пронзительную формулу, бросая в зал: “Достоевский — Сатана, обращенный и простертый ниц пред ликом Христовым” (*Dostoïevski est le Satan converti et prosterné devant l'image du Christ*) [2, с. 93].

А потому-то, по мысли диспутанта, “если вам доведется погрузить свой взгляд, пусть лишь на мгновение, в бездну, в небытие Достоевского, вы испытаете незабываемое потрясение, следы которого нестираемы. Вы отравлены Достоевским на всю жизнь. Вы можете победить Достоевского. И коль хотите жить, Вы должны победить Достоевского. И он сам укажет вам путь к победе. В любом случае более вы не тот человек, каким были прежде” [2, с. 92].

Мировой культурный ландшафт Достоевский изменил точно, представив свой опыт гениальных конвульсий кризисного сознания в поисках искупления ключом к построению и глубинной дешифровке новой парадигмы тотального кризиса — эпохи великих катаклизмов, революций, мировых войн, крушения традиций и человеческой идентификации в мире, возгласившем собственную обезбоженность.

В Достоевском еще на рубеже XIX–XX вв. мир увидел того, кто предложил антропологическую модель, адекватную транснациональному драматическому опыту. Русский писатель — портретист подпольного сознания — вплоть до наших дней будет изумлять потомков бесстрашно взрытыми копиями иррационального, бес- и подсознательного. Неслучайно его присутствие на протяжении более чем столетия окажется неотменимым практически во всех сферах мировой культуры, где сказывается безмерно расширившееся представление о постклассическом человеке с его психической амплитудой от серафического до чудовищного.

Более чем закономерно, что Зигмунд Фрейд признавал ключевое влияние, оказанное на него и целый ряд его концептуальных положений чтением — на протяжении десятилетий — Достоевского. Роман “Братья Карамазовы” венский доктор неоднократно называл величайшим из когда-либо созданных в мировой литературе. А в 1928 г. опубликовал свой знаменитый очерк “Достоевский и отцеубийство” (“*Dostojewski und die Vätertötung*”), написанный по предложению М. Эйттингера в качестве предисловия к немецкому изданию “Карамазовых”¹.

¹ См. также: [8, с. 590]; [9].

Подобная универсализация взгляда на Достоевского как носителя откровения о кризисном человеке на протяжении XX века идет в параллель важнейшим философским влияниям и историческим катаклизмам эпохи. В 1900-е годы его восприятие на Западе резонирует с влиянием Анри Бергсона, концепцией "жизненного порыва", интуитивизмом и витализмом, сметавшим былую картезианскую рациональную картину мира. К середине 1910-х и на Западе, и в России формируются авангардные художественные системы, которые сейсмографируют антропологический кризис как следствие катастрофических толчков истории — прежде всего травм Первой мировой войны, русской революции и ее следствий на Западе. И для экспрессионизма — интегрального направления и стиля этой эпохи, — и для дадаизма, и для сюрреализма, и для многих иных авангардных феноменов, откликающихся на парадигму кризиса, Достоевский — сильнейший магнит.

Именно в этом своем качестве он оказывается для очень многих уникальным, ни с кем не сравнимым выразителем самого духа трагических переломов истории. Неслучайно Томас Манн в своей страстной, мутной и глубокой книге "Размышления аполитичного" ("Betrachtungen eines Unpolitischen", 1918), которая выросла из крови и пепла Первой мировой войны, в сущности, представляет Достоевского — писателя воюющего с Германией народа, да еще и слывшего "националистом" — своим "альтер эго", собратом, помогающим перенести немцу-традиционалисту-интеллектуалу фрустрацию поражения. И даже противопоставляет России, где Достоевский дескать "забыт", его невиданную популярность в переживающей военный разгром и брожение духа Германии, где "юные художники <...> сегодня, как мало кому, преданы великому провозвестнику души" — русскому романисту [3, с. 489].

Сказанное Томасом Манном как будто подхватывает другой великий немец — Герман Гессе — в эссе послевоенного 1919 г. под символически значимым заглавием "Братья Карамазовы, или Закат Европы". Это заглавие, по сути, превращает в нарицательную формулу сопряжение имени Достоевского с книгой Освальда Шпенглера, которая послужила историософским обоснованием эпохальному диагнозу: упадку и кризису западной цивилизации.

Гессе начинает с красноречивой концептуальной констатации: «В произведениях Достоевского, а всего сильнее в "Братьях Карамазовых" с невероятной отчетливостью выражено

и предвосхищено то, что я называю "Закатом Европы". В том факте, что именно в Достоевском — не в Гёте и даже не в Ницше — европейская, в особенности немецкая, молодежь видит теперь своего величайшего писателя, я нахожу что-то судьбоносное. Стоит лишь бросить взгляд на новейшую литературу, как всюду замечаешь переключку с Достоевским, пусть и на уровне простых и наивных подражаний. Идеал Карамазовых, этот древний, азиатски оккультный идеал начинает становиться европейским, начинает пожирать дух Европы. В этом я и вижу закат Европы. А в нем — возвращение к праматери, возвращение в Азию, к источникам всего, к фаустовским "матерям", и, разумеется, как всякая смерть на земле, этот закат поведет к новому рождению. Как закат этот процесс воспринимаем только мы, современники его [...]» [4, с. 37].

Представителя старой европейской культуры настораживает и, в сущности, ужасает революционный заряд духовидческих полетов русского писателя, лихо сметающих опоры и "строительные леса" классической западной морали и этики и их самодостаточности.

Гессе вопрошает и отвечает: «Но что же это за "азиатский" идеал, который я нахожу у Достоевского и о котором думаю, что он намерен завоевать Европу?»

Это, коротко говоря, отказ от всякой нормативной этики и морали в пользу некоего *всепонимания, всеприятия* (курсив мой — В.П.), некоей новой, опасной и жуткой святости, как возвещает о ней старец Зосима, как живет ею Алеша, как с максимальной отчетливостью формулируют ее Дмитрий и особенно Иван Карамазов

[...] "новый идеал", угрожающий самому существованию европейского духа, представляется совершенно аморальным образом мышления и чувствования, способностью прозревать божественное, необходимое, судьбинное и в зле, и в безобразии, способностью чтить и благословлять их».

Так являет себя, по логике Гессе, коллективный Карамазов — русский человек, но при этом уже и универсальный, завоевавший как минимум Запад, "приближающийся человек европейского кризиса" [4, с. 39].

Велик соблазн соотнести "всепонимание" и "всеприятие" из этой цитаты — равно как и "русского человека" в его универсалистской проекции по Гессе — с категорией "всемирной отзывчивости" из знаменитой Пушкинской речи

Достоевского. Но пока воздержимся от смелых и рискованных выводов из этого соотнесения...

Достоевский провоцировал, преображал и перерождал — пугая и изумляя. Причем уже с начальной поры своего выхода к мировому читателю. Показательна та ошеломленная настоятельность, с какой оцениваются его мистические прозрения, попирающие все мыслимые конвенции “высокого” искусства, варварские с точки зрения классического латинского эстетического императива, Мельхиором де Вогиюэ в знаменитой книге 1886 г. “Русский роман”, знаменующей начало победного шествия нашей словесности в Европе. Вслед за ним дистанцироваться от Достоевского спешит и датский критик Георг Брандес, для которого русский писатель — “настоящий скиф, истинный варвар без единой капли классической крови” [5, с. 3].

За десятилетия способность Достоевского пугать, провоцировать и сводить с ума западного читателя лишь отстаивалась и крепла. Частное, но характерное тому свидетельство мы встречаем в статье известного французского критика межвоенной поры Андре Руссо в газете “Кандид”, посвященной выходу в 1931 г. первой франкоязычной биографии Достоевского, написанной русским эмигрантом и литератором-франкофоном Андре Левинсоном [6]. Один из своих вопросов автору книги Руссо предваряет таким рассуждением: «Гений Достоевского меня возмущает более, чем притягивает. Полное издание “Братьев Карамазовых” я держу, как дикого зверя в клетке, запертым в книжном шкафу, поскольку знаю, что стоит лишь мне открыть эту inferнальную книгу, как я сразу же брошу ее на стол и в бегу, схватившись за голову, дабы убедиться, что я не сумасшедший, что существует еще чистый воздух, каким можно дышать под благосклонным небом, что, наконец, мир еще возможен» [7].

Мучительная невыносимость Достоевского предстает обратной и неизбежной стороной его победительно пленяющих мистериальных откровений. В мировой критике рубежа столетий и первой половины XX в. его фигура помещается в один ряд не с чистыми писателями, а с мыслителями — зачинателями новых духовных путей и диагностами эпохальных кризисных сломов. Чаще всего вместе с Платоном, открывающим великую традицию европейского идеализма, Паскалем, отцом глубинной религиозной рефлексии больного, парадоксального сознания на пороге нового времени, и Ницше, глашатаем трагики сверхчеловеческого.

Примечательно, что, случайно познакомившись с Достоевским в 1887 г. по французскому изданию “L’Esprit souterrain” (“Подпольный дух”) — вольной компиляции “Хозяйки” и “Записок из подполья”, Ницше почувствовал глубокое психологическое родство с героем-парадоксалистом Достоевского. Есть основания предполагать, что понятия “воли к власти”, “ресентимента”, “нигилизма” были сформулированы германским философом в напряженном диалоге с его русским собратом-писателем. Так рождается одна из классических тем компаративистики “Достоевский и Ницше”, которую словами одного из героев этой коллизии можно назвать “битвой Диониса против Распятого”.

Ближе ко Второй мировой войне и — особенно — после нее, как результат принесенного ею трагического опыта, воздействие Достоевского оказывается корневым для философии и литературы западного экзистенциализма. Причем не только для французов, которые формировали эту философскую концепцию (Маритен, Камю, Сартр, Мальро...) и риторизировали такие понятия, как “свобода”, “существование”, “покинутость”, “предельная ситуация”, в плотном соотнесении с тезаурусом Достоевского. Комплекс “психологического подполья” оказывает радирующее воздействие и на экзистенциальные поиски американской литературы второй половины XX в. (да и вплоть до наших дней). Он вошел в ее обиход, стал одним из культурных архетипов. Отсылки к “подпольному человеку” и иным “достоевизмам” мы встречаем и у Сола Беллоу, и у Дж. Сэлинджера, и у Джека Керуака, и у Энтони Бёрджесса, и у Брета Истона Эллиса, и у Перси Уокера, и у Дэвида Фостера Уоллеса.

Таким образом, Достоевский — ключевой элемент кода и всей европейской традиции религиозной рефлексии, и эпохи великого культурного слома рубежа веков и XX столетия. И в этом качестве мимо него не мог пройти практически никто из тех больших мировых художников, кто так или иначе нес в себе этот слом. Пожалуй, по степени своей контагиозности, способности инфицировать своим опытом художественные миры, Достоевский действительно уникален. Похоже, Кирилл Зайцев был прав. Ведь даже те, кто сознательно и последовательно автора “Карамазовых” отвергал и бросал ему вызов, оказывались уже в силу неотвязной потребности этой борьбы глубоко от него зависимы и отчасти даже им поработаны. Таких в общем много — от Бунина до Набокова и Джозефа Конрада.

Но несравнимо больше тех, кто принял его влияние так или иначе добровольно — от Андре Жида, Альбера Камю, Верфеля, Дёблина, Рильке,

Дж. Фаулза, А. Мердок или Альберто Моравия на Западе Европы до Акутагавы Рюносукэ и Акиры Куросавы на Востоке Азии.

Выступая незадолго до смерти, в 1880 г., на торжественном собрании по случаю открытия памятника Пушкину в Москве, Достоевский произнес знаменитые слова, вынесенные в заглавие нашего круглого стола, — о “всемирной отзывчивости” как главной черте русского человека, который утверждает себя через открытость вовне, другому, через способность понимать *иное* и *иных*, способность в них растворяться. Но писатель подчеркивал, что связывает эти слова с будущим, с той миссией своего народа, которой надлежит реализоваться в грядущем. Насколько будущее оправдало или оправдает эти ожидания романиста — вопрос слишком большой и сложный, чтобы на нем останавливаться сейчас. Довольствуемся же признанием очевидного: послание Достоевского несет в себе такую мощь, что культура просто не может не реагировать на него “всемирной отзывчивостью”.

Иными словами, применительно к Достоевскому “всемирная отзывчивость” — это еще и неизбежность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 11. Л.: Наука, 1974. [Dostoevsky, F.M.

Polnoe sobranie sochinenij i pisem: V 30 t. T. 11 [Complete Works and Letters: in 30 Vols. Vol. 11]. Leningrad, Nauka Publ., 1974. (In Russ.).

2. Le Studio Franco-Russe. Textes réunis et présentés par L. Livak. Sous la rédaction de G. Tassis. Toronto: Toronto Slavic library, 2005. (In French)

3. *Манн Т.* Размышления аполитичного. М.: АСТ, 2015. [Mann, Th. *Razmyshleniya apolitichnogo* [Reflections of the Apolitical]. Moscow, AST Publ., 2015. (In Russ.).]

4. *Гессе Г.* Магия книги: эссе о литературе. СПб.: Лимбус Пресс, 2018. [Hesse, H. *Magiya knigi: esse o literature* [Book Magic: Essays on Literature]. St. Petersburg, Limbus Press Publ., 2018. (In Russ.).]

5. *Brandes G. F.M.* Dostojewski. Berlin: Marquardt, 1889. (In German)

6. *Levinson A.* La vie pathétique de Dostoïevsky. Paris: Plon, 1931. (In French)

7. *Rousseaux A.* Un quart d’heure avec M. André Levinson. *Candide*, 02.04.1931. P. 3. (In French)

8. *Jones, Ernest.* The Life and Work of Sigmund Freud. London: Penguin, 1964.

9. *Vladiv-Glover, Slobodanka.* Dostoyevsky, Freud and Parricide; Deconstructive Notes on “The Brothers Karamazov”. *New Zealand Slavonic Journal*. 1993. P. 8–12.

Дата поступления материала в редакцию: 14 октября 2021 г.

Статья поступила после рецензирования и доработки: 27 октября 2021 г.

Статья принята к публикации: 30 октября 2021 г.

Дата публикации: 31 декабря 2021 г.

Received by Editor on October 14, 2021

Revised on October 27, 2021

Accepted on October 30, 2021

Date of publication: December 31, 2021